Сказки Севки Глущенко

Автор:
Владислав Крапивин

Сказки Севки Глущенко

Владислав Петрович Крапивин

Повесть «Сказки Севки Глущенко» – о ребятах послевоенной поры. Второклассник Севка, маленький сказочник и поэту, все труднее и труднее бороться с бедами, отстаивая свою правду. Но если не сдаваться и твердо верить в свою мечту, – она непременно сбудется. Ведь настоящие чудеса бывают только в жизни.

Владислав Крапивин

Сказки Севки Глущенко

ЧТО ТАКОЕ СТИХИЯ

На дальнем-дальнем Севере, где круглое лето днем и ночью светит солнце, а всю зиму – полярное сияние, жители строят дома из оленьих шкур. Очень просто. Берут они длинные шесты, втыкают их по кругу в землю или в снег, а вверху связывают вместе. Получается как бы скелет шалаша, но называется он не «скелет», а «каркас». На каркас набрасывают шкуры. Вот и готов дом.

За меховыми стенами крякает мороз и топчутся олени – роют снег, чтобы добыть на ужин мох; вверху через круглое отверстие заглядывают озябшие звезды, а холод не попадает: его прогоняет горячий дым от костра, который горит

посреди шалаша.

Наверно, в таком доме тепло и уютно, и всё это напоминает сказку про Снежную королеву.

Одно непонятно: откуда северные жители берут шесты? В тундре только ползучие кустарники растут. Видимо, приходится запрягать в нарты оленей или собак и ездить за жердинами в тайгу…

Севке проще. Ему для шалаша нужен всего один шест, и ездить за ним никуда не надо. Еще в сентябре его подарил Севке Гришун.

Гришун учится в ремесленном училище и держит голубей. У него несколько шестов, которыми он этих голубей гоняет. Гришун совсем большой, он курит и ругается иногда совершенно жуткими словами. Но когда Севка подошел и спросил, можно ли взять один шест для важного дела, Гришун не пригрозил надавать по шее и никак не обозвал. Он сказал:

– Бери и уматывай на фиг, не путайся под сапогами…

Счастливый Севка втащил тонкую жердь в свое окно и уложил за кроватью вдоль плинтуса.

С тех пор Севка часто строил шалаш. Конечно, не в далекой тундре, а прямо в комнате, на кровати. Когда мамы не было дома.

В деревянном старом доме стояла тишина. Но не сильная, не до звона в ушах. За дощатой стенкой бубнила еле слышно Севкина соседка – четвероклассница Римка Романевская. Она учила правила по русскому языку. Эти правила она целыми днями долбила. Один раз Севка пошел в уборную в конце двора и слышит из-за дверцы:

«Мягкий знак после шипящих согласных в конце слова ставится у существительных женского рода… Мягкий знак после…» Севка стоял, стоял, переминаясь с ноги на ногу, а потом не выдержал:

– Эй ты, существительное женского рода! Скоро вылезешь? Мне тоже надо!

Но нахальная Римка сказала, что не скоро, и Севке пришлось идти за угол…

Кроме Римкиного бормотанья слышался очень далекий и приглушенный голос тети Даши Логиновой. Это уже не в доме, а на дворе. Тетя Даша ругала сына, первоклассника Гарика, и, конечно, грозила выпороть. Но это не страшно. Пока тетя Даша кричит, от беды далеко. А вот когда она становится молчаливой и решительной – держись, Гарик.

Отчетливо щелкали ходики, а в комнате Ивана Константиновича еле слышно играло радио. Эти звуки не прогоняли вечернюю тишину, а вплетались в нее, и тишина делалась спокойной и доброй.

И всё было хорошо. Жаль только, что мама придет еще не скоро.

Севка вытащил шест и положил его концами на спинки широкой маминой кровати. Потом накинул на него старый полушубок и свое одеяло. Подоткнул края под матрац.

В таком шалаше хорошо придумываются всякие приключения. Но сейчас придумывать не хотелось. Не такое было настроение. Севка достал из «Пушкинского календаря» маленькую мамину фотографию и с ней забрался в свое укрытие.

В той части шалаша, где крышей служил полушубок, стояла теплая мохнатая темнота. А вытертое одеяло просвечивало, и мелкие дырки сверкали, как электрические звездочки. Севка пристроил фотографию во вмятине подушки и сделал в шалаше щелку, чтобы луч от лампочки падал на мамино лицо.

И получилось, что он вдвоем с мамой.

Было немножко грустно и все-таки хорошо. Севка будто даже мамин голос услышал. Как она поет песню о тонкой рябине.

Севкина мама часто пела, когда что-нибудь делала дома. Чистит картошку, или зашивает продранные Севкины штаны, или белит известкой печку-плиту – и поет. Но это негромко, для себя. А иногда (правда, это нечасто бывало), если приходили гости, мама пела для всех, и все ее хвалили. А в давние времена, еще до войны, когда Севка был крошечным и они жили в Ростове, мама пела на концертах. За это ей однажды подарили книгу «Пушкинский календарь». Там на гладком листе было написано черными чернилами: «Татьяне Федоровне Глущенко за активное участие в художественной самодеятельности. Нач. кл. Сергиенко». «Нач. кл.» – значит начальник клуба моряков.

В сорок первом году, когда эвакуировались из Ростова, мама взяла «Пушкинский календарь» с собой. Потому что Севка очень любил эту книгу. Гладкие белые листы в начале и в конце книги он изрисовал разными картинками (очень уж хорошая была бумага!), с удовольствием разглядывал портреты и рисунки, узнавал на страницах знакомые буквы и цифры. А потом по стихам Пушкина мама учила его читать.

Тяжелый календарь в твердых коричневых корках был самой давней семейной вещью у Севки и мамы. Самой своей. Да еще большой потрепанный чемодан, с которым Севка и мама приехали в сибирские края. Все остальные вещи появились потом, постепенно: кровать, старый сундук, стол, две табуретки, рассохшийся фанерный шкаф, зеркало, посуда и всё другое, что необходимо людям, когда они живут на одном месте.

Появились и кое-какие книги, но всё равно «Пушкинский календарь» был самый любимый. Иногда Севка читал его один, а иногда с мамой. Благода-ря календарю и маме он узнал еще до школы очень важные вещи. Не только про Пушкина, но и про многое другое. Оказывается, цари были очень плохие люди. Они грабили и угнетали народ. Цари защищали помещиков, которые издевались над бедняками. Эти помещики били крестьян кнутами и прутьями и продавали их, будто коров или лошадей. Наконец народ не выдержал, и случилась революция. Царя, помещиков и всяких буржуев свергли. Пушкин тоже был за революцию, но он до нее не дожил, потому что один гад по имени Дантес смертельно ранил его на дуэли.

Пушкин умер десятого февраля 1837 года… А ровно через сто лет и один день родился на белый свет Севка Глущенко.

Это число в «Пушкинском календаре» мама обвела красным кружочком. Но Севка не любил стра-ницу со своим днем рождения. Там была напечатана маска Пушкина. Маску сделали, когда Пушкин умер, и она была с закрытыми глазами. И еще одну страницу – где Пушкин в гробу – Севка не любил. Страшновато было смотреть, а самое главное – очень жаль Пушкина. Ну почему, почему он не успел выстрелить первым?

Севка, уже который раз в жизни, пожалел Пушкина, разозлился на подлого буржуя Дантеса и по-двинул к себе «Календарь». Стал его листать. Свет из щели упал на восемьдесят третью страницу. Там была похожая на фотокарточку картинка: Пушкин стоял на скалистом берегу, плащ у него развевался, а перед ним кипели волны. Под картинкой были стихи, которые Севка очень любил. Вернее, любил их начало. Стихотворение было большое и не совсем понятное, но первые строчки – печальные и гор-дые – Севке нравились так, что каждый раз щипало в глазах.

Прощай, свободная стихия!

Последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Мама объяснила, что Пушкин это написал, когда уезжал от моря и прощался с ним.

Севка тоже однажды уехал от моря. Но это было очень давно, и море Севке запомнилось плохо. Что-то серовато-синее, встающее неоглядной стеной. Но всё равно Севка его любил. Море – это была стихия. Севка однажды спросил у мамы, что такое стихия, и она объяснила. Стихия – это что-то громадное и сильное: бушующий ветер, гроза, землетрясение. И море…

И стихи Пушкина – тоже стихия:

«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…»

«Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна осве-щает снег летучий…»

«Ужасный день! Нева всю ночь рвалася к морю против бури…»

И если даже стихи не про бурю, не про ветер и море, стихия в них всё равно чувствуется, только она спокойная. Море ведь тоже бывает спокойным, но оно и тогда могучее…

Севка пошептал про себя четыре строчки про стихию, хотел еще полистать «Календарь» и услышал, что на улице, за двойными рамами с треснувшим стеклом, тоже просыпается стихия. Нарастал резкий ветер. Стекло начало потихоньку дребезжать, быстрый воздух свистел в сучьях тополей, которые росли у кирпичной стены пекарни.

Сразу было понятно, что ветер этот пронзительный и, наверно, завтра он принесет снег. Снег – это здорово, это веселая зима, санки, близкий Новый год. Он, этот сорок шестой год, будет очень хороший, потому что первый год без войны, так все говорили. Но пока от ветра делалось неуютно. Тоск-ливо даже. И мама не скоро придет, у нее в Заготживсырье опять собрание, и она должна печатать протокол. Она часто задерживается – то на этих дурацких собраниях, то на сверхурочной работе, на которую все должны ходить, хотя «сидишь в конторе как пень и делать абсолютно нечего».

Севка тревожился. Ходить поздно вечером по улицам опасно. Бывает, что нападают бандиты с финками, отбирают у прохожих деньги, продовольственные карточки и одежду. Иногда маму провожает с работы капитан Иван Константинович Кан, который живет в комнате за левой стенкой, – он возвращается домой из пехотного училища и заходит за мамой в Заготживсырье. Но сегодня он до утра на дежурстве.

Севка поворочался в своем шалаше, чтобы прогнать неспокойные мысли. Они, конечно, не про-гнались, они любят привязываться, когда человек один-одинешенек. Может, пойти к Романев-ским? Иногда там весело и даже покормить могут (а то свою порцию пшенной каши Севка слизнул сразу после школы, и в животе опять пусто). Но кажется, Соня еще не пришла, у нее шесть уроков во вторую смену, а бестолковая Римка всё долбит свои правила…

Севка выбрался из-под полушубка и подошел к окну.

Бумага, которая закрывала щель в стекле, оторвалась, от окна дуло. Пробившийся с улицы воздух стекал с подоконника, льдисто холодил сквозь чулки Севкины ноги. Но Севка не ушел. Сел на табурет, попытался натянуть на коленки штаны из гимнастерочной ткани, сунул ладони под мышки, спрятал подбородок в растянутый воротник тонкого хлопчатобумажного свитера и стал смотреть, какая за окнами ночь.

Ночь была с луной. Минуты две Севка размышлял, почему луна бывает разная: иногда громадная, будто стол в комнате Романевских, а порой – малюсенькая, с пятак. Сейчас луна была величиной с мячик. И очень яркая. Она висела неподвижно, потому что не было ни облачка. Если есть облака, луна всегда катится им навстречу – словно колобок, за которым гонится волк. Но сейчас резкий ветер выскреб небо – как метлой из жестких прутьев (такой метлой тетя Лиза в школе чистит крыльцо от слежавшегося снега и ледяных крошек; этой же метлой иногда награждает по спинам тех, кто носится сломя голову и мешает работать). Ветер этот дергал и мотал корявые черные ветки тополей.

Если долго смотреть, может показаться, что кто-то в ветках суетится, вертится. Может быть, разбойники или даже какие-нибудь страхилатины – например Баба Яга. В прошлом году Севка, если был вечером один, побаивался смотреть в чащу веток. А сейчас не боится, потому что никаких Баб Яг (или как – «Бабов Ягов»?) на свете совершенно не бывает. Поэтому сейчас и сказка начала придумываться не страшная. Будто в тополиных ветках поселились обезьяны. Не такие, как в Африке, а специальные – северные. У них густой мех, добрые желтые глаза, и сами они добродушные и дружелюбные. И у них есть детеныш – маленький обезьянчик (или обезьяненок? или обезьяныш?). Когда выпадет снег, он прыгнет сверху в мягкий сугроб и приковыляет к Севке в гости. Он пушистый, ласковый и веселый. И они с Севкой…

Что они будут делать, Севка не придумал. Что-то случилось. Всё осталось прежним – луна, ветки, скрежет и подвывание ветра, но Севка напрягся – с радостным ожиданием. Будто уловил еле слышный сигнал. Нет, это был совсем неслышный сигнал, даже непонятно что. Но Севка уже знал: идет мама.

С минуту он сидел с радостью и беспокойством – не ошибся ли? Но потом уже явно уловил мамины шаги на лестнице. Захлопали двери – в сенях, в коридоре. Вот мамин голос – она весело поздоро-валась с тетей Аней Романевской. И теперь уже у двери…

Севка дернулся, чтобы кинуться к порогу… и остался на табурете. Он был сдержанный человек, Севка. По крайней мере, старался быть сдержанным. И когда мама вошла, он только улыбнулся ей навстречу.

– Севёныш! Ты зачем у окна? Тебя всего просквозит!

– Не просквозит, я тут недолго… – Севка неторопливо встал, подошел, тронул щекой мамин рукав.

На улице еще не было снега, но северный ветер пропитал жесткое сукно льдистым воздухом, и от мамы пахло веселой зимой.

Мама торопливо разматывала пушистый платок. Севка поднял на нее глаза:

– А ты почему так рано? Говорила – собрание…

– Собрание получилось короткое… А ты что, не рад, что я пришла?

– Наоборот, – солидно сказал Севка. – Просто удивился.

Мама оглядела комнату:

– Я смотрю, ты тут поработал. Опять на кровати сооружение.

– Сейчас уберу.

– Вот-вот, убирай… А я печку растоплю, сварю макароны на молоке…

– И с сахаром, – облизнулся Севка.

Скоро печка гудела, стреляла, потрескивала и свистела, будто она топка скоростного паровоза. А кастрюля на плите пфыкала, как паровой котел. Мама кинула в нее целую охапку сухих трескучих макаронин (Севка ухватил одну и сунул в рот, как папиросу).

Печная дверца была приоткрыта, чтобы усилить тягу. Севка присел перед ней, стал смотреть на огонь и толкать в щель кусочки коры и щепочки. Вечер обещал быть прекрасным.

Но мама разбила Севкины мечты. Она со вздохом проговорила:

– За уроки ты, конечно, не брался…

– Ну, мама… – осторожно сказал Севка. – Ну можно же завтра.

– Знаю я это «завтра». Будут сплошные кляксы… Пока варятся макароны, садись и сделай хотя бы упражнение по письму.

– О Господи, ну что это за жизнь такая, – сокрушенно произнес Севка, надеясь разжалобить маму. – Только сел человек погреться…

– Если человек будет канючить, он не получит подарок…

– Какой? – Севка пружинисто встал.

– Какой просил.

– Ручку? – осторожно спросил Севка.

– Ручку, ручку…

Севка забыл, что надо всегда быть сдержанным. Он затанцевал вокруг мамы, как вылеченные обезьяны вокруг доктора Айболита. И мама, смеясь, достала из сумки подарок.

Это была металлическая коричневая трубка. С двух сторон из нее торчали, как тупые пистолетные пули из гильзы, блестящие колпачки. Вытащишь один – там перо. Переверни колпачок, вставь тупым концом в трубку и пиши. А во втором – карандашный огрызок. Если писать таким коротышкой, его и в пальцах не удержишь, а в трубке он – как настоящий большой карандаш.

Но главное – сама трубка. Это было оружие. Из нее отлично можно стрелять картофельными проб-ками. Надо зарядить трубку с двух сторон, крепко надавить сзади карандашом, и передняя пробка – чпок! – вылетает как пуля. В последние дни такое чпоканье то и дело слышалось в Севкином классе. Особенно на уроках чтения, пения и рисования, когда не надо писать и решать. Стреляли счастливчики, у которых были трубки. У Севки не было. Вот он и просил у мамы несколько дней подряд.

Мама, судя по всему, не догадывалась, зачем Севке эта ручка. Думала, что просто ему нравится такая: блестящая, с карандашиком. А сам Севка насчет стрельбы не объяснял. Не то чтобы скрывал специально, а зачем лишние подробности…

Попрыгав, Севка опять стал сдержанным и потащил к столу противогазную сумку, которая была у него вместо портфеля. Достал тетрадь по письму. Она была в самодельной газетной корочке: тетради в школе выдавали без обложек, говорили, что на фабрике не хватает плотной бумаги.

Взглянув на замусоленную тетрадь, мама опять вздохнула:

– Сядь как следует… Подстели газету, стол закапаешь чернилами… Покажи, какое упражнение задали?

Упражнение было небольшое, всего три строчки. Списать предложения, вставить в словах пропущенные буквы. Подумаешь!

Наверно оттого, что новая ручка помогала, Севка писал быстро и довольно аккуратно. И даже ни одной кляксочки не уронил: ни в тетрадь, ни на газету, ни на клеенку. Но мама всё беспокоилась: ей казалось, что Севка опрокинет пузырек с чернилами («макай аккуратней!»), помнет и без того жеваную тетрадку («не ставь на нее локоть»), искривит себе позвоночник («ну почему ты кособочишься за столом?»).

– И не торопись, никто за тобой не гонится. А то опять напишешь как курица лапой…

Севка хихикнул. Он тут же представил, как тощая грязная курица, одна из тех, что у Гарькиной матери, тети Даши, прыгнула на стол, сшибла крылом пузырек,

ступила в чернильную лужу когтистой лапой и начала царапать на листе в косую линейку: «На поле растут рожь и пшеница…»

– Ну что ты веселишься? Вот увидит завтра Елена Дмитриевна твои каракули, опять расстроится.

– А у нас теперь по письму… то есть по русскому языку… теперь не Елена Дмитриевна, а Гета Ивановна. Она теперь часто нас учит, потому что у Елены Дмитриевны совсем глаза испортились.

– Ну и пусть Гета Ивановна. Думаешь, за такую писанину она тебе спасибо скажет?

– А она ничего не скажет, – деловито разъяснил Севка. – Она, если ей не нравится, ка-ак дернет листок из тетрадки… И – трах-трах его – на клочки. «Будешь переписывать после уроков!» Психопатка настоящая…

– Всеволод! Ты с ума сошел?

– А чего? Если она глупая…

– Учительница не бывает глупая! Заруби на носу. И чтобы больше я…

– Ага! А зачем она говорит «польта»?

– Что-что?

– «Польта»! «Кто не решил все примеры, по?льта не получат и домой не пойдут!»

– Ну… мало ли что. Она просто ошиблась.

– Да, «ошиблась». Она всегда так говорит. Я один раз встал и сказал ей: «Гета Ивановна, надо говорить не «польта», а «пальто», если их даже много, мне мама объясняла…»

– Д-да? – с интересом спросила мама. – И как же отнеслась к этому Гета Ивановна?

– Нормально отнеслась,– вздохнул Севка. – Даже не заругалась. Только сказала: «Если ты такой умный, иди учиться к своей маме».

– Вот видишь! Разве можно делать замечания учительнице! Да еще при всем классе.

– А как же быть? – удивился Севка. – Раз она неправильно…

– Ну… в крайнем случае, подошел бы, когда она одна, вежливо сказал ей: «Гета Ивановна, вам не кажется, что вы немножко ошибаетесь?»

– Да подходил я к ней и так… вежливо, – отмахнулся Севка. – Она недавно нам рассказывала про битву под Москвой и говорит: «Немецкие „мессер-шмитты“ изо всех сил бомбили наши позиции, но ничего у них не получилось…» Я на перемене ей сказал тихонечко: «Гета Ивановна, „мессершмитты“ не могут бомбить, это же истребители…» А она как заорет: «Надоел ты мне, как зубная боль! Вон отсюда!» Схватила меня за лямки и как потащит в коридор… – Севка пошевелил спиной. – У меня даже в пузе забулькало с перепугу…

– Ох уж какой боязливый! Подумаешь, из класса выставила. Не укусила ведь…

– Я не про то, что укусила… Я подумал: вдруг Елена Дмитриевна совсем от нас уйдет, а Гетушка вместо нее навсегда сделается.

– Не Гетушка, а Гета Ивановна, – не очень уверенно сказала мама. – Что это мы с тобой разболтались! Ну-ка, пиши, а то до ночи не кончишь.

– Уже кончил. Вот, словечко последнее осталось…

Севка дописал, закрыл ручку, и она опять стала похожа на удивительный патрон, у которого с двух сторон торчат пули. Севка подкинул ее на ладони.

– Эх, картошечку бы мне, – мечтательно сказал он. – Хотя бы одну…

С картофелиной можно было бы пробраться на кухню – там сейчас никого нет – и разок попробовать, как действует новое оружие. Но мама о Севкиных планах не догадывалась. Она решила, что Севка просто соскучился по жареной картошке – золотистой, хрустящей, на подсолнечном масле. И утешила:

– Скоро привезут. Иван Константинович обещал помочь с машиной.

Картошку, которую мама весной сажала, а летом окучивала (Севка помогал), давно выкопали, но огород был далеко за городом, а машину в маминой конторе вредный начальник Панчухов почему-то всё не давал. Мешки стояли в сарае у знакомого колхозника. Сарай назывался «стайка», в нем жила добрая корова Зорька с теленком Васькой. Васька Севке очень нравился, корова тоже, а хозяин был сумрачный и молчаливый.

– Не померзла бы картошечка-то, – озабоченно сказал Севка, слушая ледяной ветер. – Вот как выставит дядька мешки на двор, чё с него возьмешь…

Мама засмеялась:

– «Чё возьмешь». Сибирячок ты мой… Не выставит. Может быть, завтра уже привезем. Вот тогда нажарим, наварим. А пока давай макаронами ужинать.

Макароны, сваренные на молоке, посыпанные сахарным песком, были восхитительны. И главное, мама сварила их сегодня много. Севка наелся так, что сразу осоловел и начал засыпать прямо на табурете. Мама постелила ему, как всегда, на длинном сундуке, который остался от прежних жильцов, кинула поверх одеяла старый полушубок – чтобы не продуло хитрым, как вражеский разведчик, сквозняком от окна – и велела:

– Брысь в постель.

Севка послушно улегся. Но не уснул. Когда мама выключила свет и тоже легла, он пробрался к ней.

– Здрасте, это что за гость? – сказала мама.

– Я немножко с тобой полежу, я спросить хочу…

– Ой, а почему у тебя ноги как ледышки? Холодно там?

– Да не холодно, не холодно… Мама, а «стихи» и «стихия» – это родные слова?

– Как – родные?

– Ты же сама рассказывала, что некоторые слова от одного корня выросли, как ветки дерева. Ну, «самолет» и «летчик». «Наушник» и «подушка»… А «стихи» и «стихия»?

– Я… ой, Севка, я даже не знаю. Как-то не думала… Может быть… А сам ты как думаешь?

– Тоже не знаю. Если Пушкина стихи, то, конечно, это родные со стихией. Но ведь всякие бывают…

Они помолчали, и мама осторожно спросила:

– А ты больше никаких стихов не написал?

– Да ну… вот еще…

Дело в том, что перед Октябрьским праздником у Севки сами собой сочинились четыре строчки:

Свергнут царь, и свергнута вся свита.

Не владеть землею паразитам.

Знамя красное ярко горит —

Власть Советов всегда победит!

Маме эти стихи очень понравились, и она рассказала про них Елене Дмитриевне. Ну и началось! Сначала Севку упросили прочитать это «стихотворение» на утреннике, а потом еще поместили в стенгазете «За учебу», которая висела в

деревянной рамке рядом с учительской. На утреннике Севке вежливо похлопали, в стенгазете стихи его, конечно, прочитали, и Севка, по правде говоря, даже слегка гордился. Поэтическая слава – штука приятная. Но после праздника Людка Чернецова, с которой он поругался из-за промокашки, сказала: «Дурак ты, хоть и Пушкин». Громко сказала, прямо на уроке. Елена Дмитриевна сделала ей справедливое замечание, но поздно – прозвище приклеилось к Севке. А через пару дней оно из «Пушкина» превратилось в «Пусю».

Раньше у Севки было обыкновенное прозвище – по фамилии, как у всех: Глуща, или Гуща, или, чаще всего, Гущик. А теперь какая-то Пуся…

Севка обиженно пошмыгал носом. Потом пробормотал, притворяясь, что засыпает:

– Чё писать-то… Разве я поэт?

– Кто тебя знает, – серьезно сказала мама. И добавила: – А ну-ка, беги к себе, а то уснешь.

– Я еще маленько полежу. Ну, самую чуточку…

Севка повернулся на спину и стал смотреть «кино». Над печкой высоко в углу была щель в дощатой стене. В нее падал свет из комнаты Романевских, и на другой стенке выступал из темноты желтоватый неровный квадрат с размытыми краями. Качалась в углу паутина, шевелился клочок оторванных обоев, суетились мелкие тени. И всё это складывалось в подвижные рисунки. Если приглядеться – очень интересные.

…Вот идет по пустыне медленный верблюд, вот летит над башнями старинного города большущая птица, а на спине у нее мальчишка. А вот спешит куда-то скособоченный человечек в остроконечной шляпе. Он тащит тяжелый ящик – наверно, шарманку. За ним увязалась добродушная лопоухая собачонка. Вернее, щенок… Щенка зовут Буль, он сперва был беспризорный, а потом подружился с кривобоким шарманщиком, и они вместе ходили по разным городам. Шарманщик играл всякую музыку, а Буль танцевал и кувыркался, и все их любили, но однажды…

– Севка, ты же совсем спишь.

– Нет, я еще маленько посмотрю.

– Что посмотришь, чудо ты заморское? Сон?

– Кино…

Шарманщик и Буль куда-то пропали, придется досматривать про них завтра…

А что, если бы по правде в углу над печкой было кино! Ложишься спать, а там включается маленький экранчик и начинается какой-нибудь фильм – не отрывочный и сбивчивый, а настоящий! Вот было бы счастье!

…Прошли годы. Севка сделался взрослым и даже пожилым Всеволодом Сергеевичем. Однажды он купил себе маленький транзисторный телевизор – похожий на игрушку, но совсем настоящий. Ночью, укладываясь в постель, он ставит иногда телевизор на стул и смотрит какую-нибудь кинокартину. Это ему нравится. Но особого счастья Всеволод Сергеевич не чувствует. Гораздо счастливее он был, когда смотрел в углу над печкой неясные коротенькие сказки, сотканные из желтых лучей и паутинок. Может быть, потому, что эти сказки сочинял он сам. А может быть, потому, что было ему всего восемь лет…

ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

Севка отодвинул черную от старости доску, и в заборе появилась щель. Севка бросил в нее сумку. Потом протиснулся сам. И оказался в Летнем саду. Сад, конечно, только назывался так – Летний. Теперь он был совершенно осенний. Севка пошел среди голых высоких берез. Он весело раскидывал ногами жухлые листья. На листьях блестела тонкая пыльца изморози. Новая кожа ботинок покрывалась от нее тонкими, как волоски, влажными полосками.

Севка шел в ботинках, а не в старых кирзовых бахилах, потому что в этот ярко-синий безоблачный день уличная грязь окаменела от холода.

Ботинки мама недавно получила по ордеру на товарном складе Облрыбкоопа. Но отпускать Севку в них в школу она сегодня боялась: говорила, что холодно. Тогда Севка сказал:

– Они и так мне жмут… самую чуточку. А к весне я вырасту, и они совсем не полезут, пропадут.

Мама засмеялась и сказала, что Севка слишком хитер для своих лет. И разрешила. Только велела вместо старого легкого ватничка надеть зимнее пальто.

– У-у… – сказал Севка.

– Ничего не «у». Зря я, что ли, шила его из своей почти новой тужурки?

Севка полагал, что зря. В телогрейке было ничуть не хуже. А пальто получилось длиннополое, и Севка считал, что в этой обновке он похож на тонконогую девчонку.

Но говорить этого Севка не стал. Ни к чему портить настроение, когда день такой солнечный, когда в сумке новая трубчатая ручка, когда уроки все (честное-пречестное, все!) сделаны, а завтра уже суббота, за которой придет счастливое долгожданное воскресенье…

Севка прошел мимо заколоченного летнего театра, где в мае они с классом смотрели кукольную пьесу «Веселый праздник», мимо заваленной листьями танцплощадки и через другую щель выбрался на деревянный, покрытый стылыми комками грязи тротуар. В квартале от школы. По обеим сторонам улицы шагали ребята: кто в школу, кто в другую сторону. Первая смена кончилась, вторая начнется через полчаса. Севка кинул на плечо брезентовый ремень сумки, расстегнул пальто – чтобы видно было, что под ним свитер и штаны, а не платьице – и двинулся вдоль забора, поглядывая по сторонам: нет ли знакомых?

Знакомых пока не было. Севка хотел перейти улицу, но из-за угла выскочила лихая полуторка. Ее встряхивало на булыжниках и выбоинах мостовой. В кузове, как живые, подпрыгивали мешки с картошкой. Один, видимо, лопнул – из кузова, когда тряхнуло особенно крепко, выскочили три картофелины. Несколько секунд

они, кувыркаясь, мчались за машиной, будто надеялись догнать ее и прыгнуть в кузов. Но быстро устали и скатились в канаву на другой стороне улицы.

Вот это удача! Недаром Севка еще утром понял, что день будет счастливый. Лишь бы никто не опередил! Севка прыгнул через штакетник, продрался через сухие сорняки, которыми к осени заросли газоны (мертвые головки репейника вцепились в чулки и пальто), и выскочил на мостовую. Кинулся поперек улицы.

Твердый носок нового, еще не очень послушного ботинка зацепился за камень. И Севка, взмахнув, будто крыльями, полами пальто, распластался на булыжниках и замерзшей грязи.

Он поднялся почти сразу. Конечно, искры из глаз, а в колено словно гвоздь забили, но посреди дороги пусть лежат дураки и покойники. Машины-то всё время туда-сюда проносятся. Да и картошку может кто-нибудь схватить…

Хромая, Севка подбежал к канаве. Картофелины лежали в бурой траве. Две небольшие, ровные, а одна – крупная, вся в шишковатых наростах. Севка поморгал, чтобы стряхнуть с ресниц слезинки, и спрятал три клубня в сумку. И наконец посмотрел на правое колено, которое болело изо всех сил.

Чулок был порван. Дырка оказалась небольшая, но Севка знал, что скоро она поползет и к вечеру будет величиной с картошку, тут уж ничего не поделаешь. Постанывая (не вслух, а про себя), Севка опять перешел улицу. Через дыру в заборе снова пробрался в сад, подальше от посторонних глаз: ему не хотелось, чтобы кто-то видел его мокрые ресницы.

Края у дырки на чулке уже промокли от крови. Если так и оставить, они присохнут к коже и потом будет больно отдирать. Севка это знал по опыту. Морщась, он спустил чулок, отыскал в сумке са-мую свежую промокашку, свернул ее в четыре слоя, наложил на разбитую коленку. Снова натянул чулок. Промокашка сперва ярко заголубела среди коричневой рубчатой ткани, но почти сразу потемнела от крови. Стала почти незаметной. Севка решил, что всё в порядке. Боль ослабла. Теперь можно было заняться трофеями.

Севка вынул картофелины. Две были самые обыкновенные, а одна – большая – походила на забавную куклу. С круглой глазастой головкой, с пухлыми ручками-ножками (только ног было не две, а три), с хвостом-шариком. И рот был –

широкий, улыбчивый: длинная складка на кожуре картофельной головки. Круглые ручки весело торчали по сторонам, а посреди выпуклого гладкого живота дерзко темнел большой пуп. Севка засмеялся и сразу решил, что картофельного кукленка зовут Кашарик. То есть картошка-шарик. И конечно, Кашарик не случайно выпал из кузова. Он просто-напросто удрал, чтобы отправиться в путешествие и поглядеть на белый свет. Ему, веселому и храброму, хотелось приключений и совсем не хотелось, чтобы его съели.

Севка решил, что варить или жарить Кашарика никому не даст. И резать из него пули не будет, на это хватит маленьких картошек. Он поселит Кашарика на подоконнике, сделает ему шалаш, и по вечерам они вдвоем будут смотреть на круглую Луну и наконец придумают, как до нее долететь. Может быть, на Луне живут человечки, похожие на Кашарика… А может быть, Кашарик и сам – такой человечек? Он прилетел с Луны, оказался на картофельном поле и случайно попал в мешок…

С той стороны забора протопало по тротуару множество быстрых ног. Севка сообразил, что это ребята бегут, боясь опоздать к звонку.

Сказки сказками, а в школу (куда деваться-то!) всё равно пора.

Начальная школа номер девятнадцать была маленькая, одноэтажная. Вернее, полутораэтажная, потому что под классами находился еще подвал – с пустыми гулкими комнатами и низким вестибюлем. Но в подвале всегда стоял промозглый холод, и там не занимались. Одно время внизу устроили просторную и удобную раздевалку, но ребячьи пальто и ватники за полдня успевали так отсыреть и промерзнуть, что директор Нина Васильевна распорядилась прибить вешалки прямо в классах. Потому что больше негде. Наверху всего четыре комнаты – с утра в них учатся два первых и два четвертых класса, а после обеда – два вторых и два третьих. Даже для учительской не нашлось отдельного помещения, и ее отгородили от вестибюля фанерной стенкой. На переменах в стенку ударяются с разбегу те, кто пробует играть в догонялки. Тогда из-за хлипкой фанеры слышится голос Нины Васильевны:

– Вы у меня побегайте, побегайте! Я вот сейчас выйду…

Но маленькую, седую Нину Васильевну никто не боится, она добрая. Другое дело, когда заорет Гета. Однако Гета Ивановна в школе бывает не всегда. Она не то студентка, не то практикантка какая-то. За-меняет Елену Дмитриевну, если та заболеет. Жаль только, что болезни эти случаются всё чаще…

Севка прихромал к школьным дверям, когда в руках у тети Лизы жидко дзенькал колокольчик. На ходу Севка стянул пальто, сунул в рукав свою мятую шапку со звездочкой. В классе отыскал на деревянной вешалке свободный колышек. Пальто – на вешалку, сумку – с плеча, сам – бух на скамейку за партой. Всё. Успел.

Севкина парта стояла в самой середине класса – во втором ряду четвертая по счету. Севка огляделся. Всё вокруг было привычно. И гомон стоял привычный: кто-то жалобно просил списать, кто-то кукарекал, кто-то дразнил толстого Насонова: «Насончик, дай халвы кусочек…» В воздухе, как обычно, реяли два или три бумажных самолетика, по ним стреляли шариками из жеваной промокашки. Запах тоже был привычный: пахло едкой меловой пылью от доски, березовым дымком от печки, пересохшей краской от парт.

А рядом сидела привычная соседка Алька Фалеева – белобрысая, с коротким прямым носиком и заботливыми глазами.

– Я уж боялась, что опоздаешь, – тихонько сказала она.

– Вот еще, – буркнул Севка.

Шум поулегся, самолетики сели на парты. Все встали. Это вошла Елена Дмитриевна. Потом стало еще спокойнее. Это Елена Дмитриевна сказала:

– Тихо, тихо, ребятки. Садитесь.

И начался урок чтения.

Чтение – это в общем-то и не урок. По крайней мере, для Севки. Не надо ни писать, ни решать примеры, а читает Севка так, что его почти никогда и не вызывают: ставят пятерку за четверть, вот и всё.

Короче говоря, пришло самое время, чтобы испытать трубчатое оружие. Севка выкатил из сумки на скамью мелкую картофелину. Алька скосила на нее глаза, но спросила про другое:

– Чулок-то где порвал?

– Запнулся, – недовольным шепотом отозвался Севка.

– Болит, наверно… – посочувствовала она.

– Пфы… – пренебрежительно сказал Севка. И незаметно поморщился: колено всё еще болело.

– И дыра такая… Попадет дома?

– Пфы, – опять сказал Севка сердито. И вздохнул.

Он знал, что не попадет. Но мама расстроится: вчера свитер порвал у ворота, сегодня опять «подарочек». Она сделается молчаливой, а на Севкины вопросы станет отвечать коротко и односложно. А наказания никакого не будет.

Мама только один раз в жизни отлупила Севку, да и то всё кончилось смехом. Это было в первом классе, тоже осенью. Мама побывала в школе и узнала от Елены Дмитриевны про Севкину двойку по письму, про драку с тогдашней соседкой по парте и про «слишком самостоятельные разговоры с учительницей». Вернулась мама сердитая и решительная. Спросила Севку, почему он заставляет ее краснеть.

Севка сказал, что ничуть не заставлял.

Мама сказала, что до сих пор неправильно его воспитывала. А теперь будет правильно.

Севка сказал, что пожалуйста.

– Ах, пожалуйста? – сказала мама. И достала из сундука старый брючный ремешок (он там валялся с давних времен, неизвестно откуда взявшийся). – Иди-

ка сюда, – сказала мама.

Севка, разумеется, не пошел.

Мама потянула его за руку, села на стул, положила строптивого сына на колени и принялась деловито хлопать ремешком.

Ремешок был плоский и легкий. Сложенный вдвое, он громко щелкал, но плотные штаны из плащ-палатки не прошибал. Севка слушал эти щелчки и удивленно молчал. В такую передрягу он попал впервые и не знал, как себя вести.

Потом вдруг Севка сообразил, как это обидно и унизительно. Что он, крепостной крестьянин, что ли?

– Ты чё? – заорал он. – Чего дерешься! На маленького, да? Если сильнее, значит, можно, да?!

Раньше он так грубо никогда с мамой не разговаривал. Но ведь и она раньше так никогда…

Севка так возмущенно задрыгал ногами, что просторные валенки сорвались и улетели в разные углы. Один попал в кадку с фикусом, который им подарила соседка, глухая Елена Сидоровна.

Мама отпустила Севку и уронила ремень:

– Тьфу на тебя, ненормальный какой-то…

Севка отскочил за фикус и оттуда оскорбленно сверкал очами. Потом сердито спросил:

– Почему ненормальный?

– Конечно, – сказала мама. – Нормальные дети, когда их лупят, что вопят? «Ой, больше не буду!» А ты и тут про свои права…

Она махнула рукой и вдруг засмеялась. Сперва понемножку, а потом как следует. Севка подобрал из кадки с фикусом валенок, и ему тоже стало смешно. Они целую минуту смеялись вдвоем. Наконец мама сказала:

– Ну что с тобой делать? Даже драть бесполезно…

Севке показалось, что мама чувствует себя виноватой. Чтобы утешить ее, он сказал:

– Ты не расстраивайся, мне не больно… Вот когда тетя Даша летом Гарьку драла, он всё в точности орал, как ты говорила. Потому что крапивой…

– Хорошо, что надоумил, – усмехнулась мама. – В следующий раз я сделаю так же.

– Где же ты сейчас возьмешь крапиву? – снисходительно сказал Севка.

И они опять засмеялись.

Другое наказание было в тысячу раз страшнее.

Севка лежал на кровати и с холодной безнадеж-ностью смотрел, как мама укладывает его вещи. Он уже выревел все слезы и растратил все обещания, что «больше не будет». Ничто не помогло. Мама спокойно и деловито перебирала и прятала в чемодан его рубашки, майки, свитер, штопаный матросский костюм и стоптанные за лето сандалии.

– Игрушки возьмешь? – спросила мама. – Говори, какие, думай скорее. Много не надо, в детском доме игрушек достаточно…

Севка не ответил, потому что было всё равно. Он ощущал черное спокойствие человека, который приговорен к смерти и оставил надежду. Мама собирала его так тщательно, что было ясно: она и в самом деле твердо решила отправить сына в детский дом.

Какие игрушки, зачем они? Он всё равно умрет раньше, чем его туда отдадут. Разве сможет он без мамы и своего дома?

И хорошо, что умрет. Это теперь не страшно. По крайней мере, мама до конца будет рядом. Севка внимательно посмотрел на маму: на ее спину в пестрой кофточке, на острые локти, на темный узел волос, под которым дрожали на тонкой шее мелкие, не попавшие в прическу завитки. Глотнул и закрыл глаза. Сердце, кажется, уже не стучало, сильно за-кружилась голова, и свет, который пробивался даже сквозь закрытые веки, исчез. Всё сделалось тихое и черное…

Потом Севка узнал, что был без сознания минут пятнадцать и мама пролила над ним реки слез. После этого Севка лежал слабый, беспомощный и время от времени шепотом спрашивал, правда ли, что мама передумала и отправлять в детдом его не станет? Мама клялась, что никогда этого не хотела, и опять начинала плакать. Пришел знакомый врач Федор Евгеньевич, погрел над плитой пальцы, прощупал Севкины тощие ребра и сказал, что у Севки не столько нервное потрясение, сколько голодный обморок. Видимо, это была правда. У Севки и раньше часто кружилась голова, и всегда хотелось есть. А в этот раз он ничего не ел с прошлого вечера… По причине переживаний.

Теперь-то Севка большой, второклассник, и знает, что никогда ни в какой детский дом его не отправят. Мама тогда просто решила Севку попугать, а на самом деле никому его не отдаст. Да и не так-то легко устроить человека в детдом: еще набегаешься за всякими справками и путевками. И кто же даст Севке такую путевку, если он не круглый сирота?

Нет, они с мамой никогда не расстанутся. И поэтому стараются жить так, чтобы друг друга не огорчать. Правда, если честно говорить, Севка не всегда старается, иногда забывает, но это не нарочно…

Но Алька Фалеева про всё это не знала. И беспокоилась за Севку. И жалела его. Она сказала:

– Давай зашью.

– Как? Прямо на ноге?

– Ага. Я умею. Только нитки черные…

– Да это ладно. А не воткнешь?

– Я осторожненько.

Фалеева всегда тихо и ненадоедливо заботилась о Севке. Оборачивала газетами его учебники и тетрадки, давала новые перышки для ручки, умело подсказывала, если Севка не мог решить пример. Один раз подарила блестящую открытку со смешным лягушонком в шляпе, который куда-то плыл на кораблике с пузатым парусом. Такие открытки присылал Фалеевой из Германии ее отец. Он был майор и со своей частью стоял в каком-то немецком городке. Война кончилась, но домой его еще не отпускали – так же как Севкиного соседа Ивана Константиновича. Открытка Севке понравилась, и он тут же придумал про лягушонка сказку.

Благодаря Альке Севка не таскал в школу пузырек с чернилами. Он знал, что перед уроком Алька достанет из аккуратного мешочка фаянсовую непроливашку с голубым петушком на боку и поставит не перед собой, а в среднее гнездо на парте – на двоих.

Но не следует думать, что Севка с Алькой были друзья. Просто Фалеева была добрая (не то что невозможная злюка и ябеда Людка Чернецова, с которой он сидел в первом классе и наконец разодрался, и Елена Дмитриевна их рассадила). Добрые люди всегда заботятся о других, и Севка принимал Алькины заботы как обычное дело. Впрочем, сам он Альку не обижал и, если требовалось, даже заступался, хотя драться не очень-то умел…

Алька из-под воротника своей бумазейной курточки достала иголку с намотанной ниткой. Севка придвинул колено.

Сначала он опасливо ждал, что иголка возьмет да и воткнется в кожу. Но она только чиркала по твердой от высохшей крови промокашке. Алька штопала умело. Севка перестал бояться и стал готовиться к стрельбе.

Острые края трубки сочно врезались в картофелину. Севка покачал трубку и резко дернул. Она с чмоканьем выскочила, в картошке осталось очень круглое черное отверстие. А в трубке – белая пробка. Так же Севка зарядил трубку с другого конца. Длинным карандашом он слегка вдавил заднюю пробку – воздух в трубке сжался. Теперь нажать чуть сильнее – и будет выстрел.

Севка оглядел класс. Елена Дмитриевна сидела за столом и печально слушала, как двоечник Филю-тин у доски выдавливает из себя слова. Он читал по слогам, будто первоклассник с букварем. Круглая голова его дергалась на тонкой шее, как у петуха, который старается проглотить слишком крупное зерно. Севка в душе пренебрежительно пожалел Филютина и стал искать цель – среди стриженных «под ноль» мальчишечьих затылков. Целиться в девчонок бесполезно: пулька всё равно запутается в волосах.

Впереди, через парту от Севки, белел гладким теменем отличник Толик Приказчиков. Севка навел трубку и надавил карандаш. Пробка отчетливо чпокнула. И пролетела мимо оттопыренного Толькиного уха. И тюкнула в макушку второгодника Серегу Тощеева, которого Елена Дмитриевна недавно пересадила с «Камчатки» на первую парту.

Севка сложил руки и замер. Алька, не переставая шить, покачала головой: что, мол, с вами, мальчишками, поделаешь.

Тощеев оглянулся и показал кулак – не кому-то одному, а так, в пространство. На грязном кулаке чернилами был нарисован кривой якорь.

Елена Дмитриевна плохо видела, но слышала отлично. Она сказала:

– Кто это опять стреляет? Вот поотбираю все железные ручки, будете знать… Иди, Филютин, на место, слушать тебя тошно… Три с минусом… А к доске пойдет Сева Глущенко.

Вот это новость! Зачем он понадобился? Севка испуганно взглянул на Альку.

– Сейчас, сейчас… – шевельнула Алька губами, и пальцы ее с иголкой забегали очень быстро.

– Ну что же ты, Сева?

– Сейчас, сейчас, – пробормотал Севка и сделал вид, что хочет вылезти из-за парты. – У меня нога застряла…

Людка Чернецова сзади хихикнула. Алька наконец оторвала нитку и независимо сложила на парте руки. Севка встал, украдкой показал Людке кулак и пошел к доске.

– Почитай вот этот рассказ. Громко, для всех.

А, вот в чем дело! У Елены Дмитриевны болят глаза, и она решила, чтобы за нее почитал Глущенко. Что ж, пожалуйста…

Рассказ был давно знаком Севке. Назывался «Акула». Про то, как в море, недалеко от корабля, купались два мальчика – сын моряка-артиллериста и его товарищ, а хищная акула погналась за ними. И как все перепугались, а отец мальчика грохнул по акуле из пушки и застрелил ее. Севке рассказ нравился, потому что было интересно: про море, про корабль, про приключение. Сначала жутковато, а потом всё кончается хорошо.

Он читал неторопливо, громко. Без особого выражения, чтобы не подумали, будто воображает. Но и не очень монотонно. Ребята слушали. Елена Дмитриевна довольно кивала. А Севка иногда поглядывал из-за книжки на коленку. Зашито было прекрасно. Будто мамина работа. Только длинный обрывок нитки говорил о недавней торопливости…

Рассказ кончился. Севка получил очередную пятерку и вернулся на место. Алька спросила:

– Хочешь? – и показала коричневый стаканчик. Такие стаканчики – упругие, с рубчиками по краям – начал выпускать недавно местный завод пластмасс, и они были теперь в каждом доме.

В стакане оказался овсяный кисель. Загустевший, плотный. Такой вкусный даже издали! Севка вздохнул. Алька подцепила кисель чайной ложкой и поднесла к Севкиному рту. Севка слизнул. Кусочек упругого киселя сохранил форму ложки и лежал на языке, будто гладкая конфетка. Только гораздо вкуснее конфетки, хотя и не сладкий. Севка подержал его так, потом с сожалением разжевал и глотнул. Алька поднесла вторую ложку…

Отказываться было очень трудно. И всё же, когда в стаканчике осталась половина, Севка сказал с сожалением:

– Хватит. Себе оставь.

Алька не ответила, потому что затренькал звонок.

Сразу все зашумели, завертелись, хотя Елена Дмитриевна говорила, что урок не кончен. Все-таки урок был кончен. Алька сунула стаканчик в парту и пошла из класса. Севка смотрел ей вслед. Тонкие белобрысые косички Альки вздрагивали над воротником бумазейной лыжной курточки. Такие же, как курточка, лыжные штаны были заправлены в залатанные резиновые сапожки. Вокруг пояса моталась короткая юбочка – розовая в черную полоску. В проходе между партами закипала возня и легкие перепалки, но Алька шла спокойно. Ее никто не задевал, и она никого не задевала.

Алька была хорошая. Севка это понимал. Жаль, что она ничуть не походила на Инну Кузнецову из четвертого «Б», в которую Севка давно уже тайно влюбился.

Инна была красивая и всегда загадочно неулыбчивая. Тонкая, с темными глазами, с черной мальчишечьей челкой над бровями. И одетая всегда в черное. «В черный рубчик», – думал Севка. Инна носила хлопчатобумажный свитер с воротником до подбородка, вельветовую юбочку, всегда новенькие чулки в резинку. Она казалась нарисованной черным тонким карандашом. Только отглаженный сатиновый галстук ярким огоньком прорезал эту неприступную траурность. Инна была в школе каким-то пионерским командиром. Чуть ли не командиром над всеми пионерами. Вторым после вожатой Светы. Но Света появлялась в школе не каждый день, она была студентка, а Инна всегда находилась на своем посту.

Инна не догадывалась о Севкиной любви. Вряд ли она вообще замечала его среди стриженой одинаковой малышни – в этом Севка самокритично отдавал себе отчет. Да он и не рассчитывал на взаимность. Просто на переменах он смотрел на Кузнецову и придумывал сказку.

Однажды он сделает из медных трубок двуствольный пистолет-поджиг (как у Гришуна) и поздно вечером выйдет на улицу. А Инна будет возвращаться домой после очень долгого пионерского сбора. И тут из лога, в котором журчит речка Тюменка, вылезут в масках бандиты из шайки «Черная кошка». Чтобы ограбить Инну, исцарапать лицо железными когтями и скинуть ее с земляного моста. Вот тогда-то Севка спокойно поднимет пистолет и чиркнет по запалу спичечным

коробком. Один раз – бах! Второй раз – бах! Два бандита – наповал, остальные – драпать. А Севка скажет со снисходительным упреком:

– Женщинам не полагается так поздно ходить одним. Время неспокойное.

– Что же делать? – жалобно спросит дрожащая Инна. – В школе столько дел…

– Разве твои пионеры не могут тебя проводить?

– Они все домой торопятся, боятся, что их мамы заругают… Вот если бы все были такие, как ты!

– Я-то как раз не такой, – сдержанно вздохнет Севка. – Я не пионер…

– Как – не пионер?! – изумится Инна. – Куда же мы до сих пор смотрели? Мы завтра же… Нет, сегодня же! Сейчас!

Она снимет свой галстук и всё еще дрожащими пальцами завяжет его на Севкиной шее. И Севка переложит дымящийся пистолет в левую руку, а правой отдаст салют, как отдают его ребята при встрече с вожатой Светой…

Так Севка мечтал в течение многих перемен, когда тайком наблюдал за Инной Кузнецовой.

Наблюдать и мечтать не трудно. В широком квадратном вестибюле на переменах не было большой беготни и возни (разве что в самом начале, когда выска-кивали из классов). Если хочешь орать и носиться, пробирайся в подвал или иди на двор играть в догонялки или в буру (это когда гоняют валенками застывшее яблоко конского помета и стараются попасть друг другу по ногам). А в полутемном вестибюле под желтыми лампочками водили хороводы. Девчонки – и среди них обязательно Инна Кузнецова – брались за руки, вставали в круг и с песней шагали в затылок друг другу.

Иногда шагали резво, потому что песни были бодрые: «Эх, хорошо в стране советской жить», «Есть на севере хороший городок», «Клен кудрявый». Иногда шагали помедленнее: «Хороша страна Болгария», «В далекий край товарищ улетает», «С берез неслышен, невесом спадает желтый лист». Порой шаг

делался еще тише: «Жил в Ростове Витя Черевичкин», «Там вдали за рекой», «Таня, Таня»…

Случалось, что мальчишки лихой атакой (если не видела дежурная учительница) разрубали девичий круг и внутри его устраивали свой хоровод, поменьше. Он двигался в другую сторону, но пели вместе с девочками. И очень слаженно. А почему бы и не петь мальчишкам? Среди песен были очень боевые: «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», «Артиллеристы, Сталин дал приказ», «Кони сытые бьют копытами»…

Песен знали множество и пели каждый день на каждой перемене. Все, кто хотел. И никого не надо было загонять в школьный хор, грозя двойками, как это стали делать потом – когда Севка вырос и у него появились свои дети…

Севка тоже часто пел в мальчишечьем хороводе. Не только потому, что любил песни. Еще и потому, что когда двигался в кругу, то и дело встречал Инну. И мог смотреть на нее совсем вблизи. И Севка смотрел. Душа его при этом сладко замирала. Но лицо он делал равнодушное и не сбивал ни шаг, ни песню…

В этот раз петь Севка не стал. Он прислонился к стене рядом с фанерной рамкой газеты «За учебу» (здесь еще недавно висели Севкины стихи, на которые, судя по всему, Инна Кузнецова не обратила внимания). Инна уже прошла мимо Севки в хороводе, но посмотреть на нее и помечтать ему не дали. Рядом появился Тощеев:

– Пуся, это ты пульнул в меня на уроке?

В Севке шевельнулся боязливый червячок. С Тощеевым связываться – ой-ёй-ёй. Но всё же он отозвался достойно:

– Сам ты «Пуся».

– Ну ладно, – примирительно сказал Серега. – Я же тебя, Гущик, по делу спрашиваю. Правда ты?

Имело смысл отпереться. Свидетелей не было. Но желание похвастаться оказалось крепче страха.

– Ага, – небрежно кивнул Севка. – С первого раза. Прицелился и – чпок… А чё такого? Больно, что ли?

– Да не больно… Тоже пострелять охота, а картохи нету. Дашь?

– Айда, – сказал Севка. Серегино миролюбие заслуживало награды.

Они пробились в класс мимо негодующих дежурных Гальки Рашидовой и Мишки Кальмана. Севка достал для Тощеева картофелину с дыркой (целую приберег для себя). Серега был рад и такой:

– Во, законная картошечка! Популяем на арифметике. Всё равно я ни фига не понимаю, как решать. Гета как заорет, у меня всё из головы выскакивает.

– А почему Гета? – испуганно спросил Севка. – Сегодня же Елена Дмитриевна…

– Ленушка в больницу идет, не слышал, что ли?

Севка расстроенно покачал головой: ничего он не слышал.

С Гетой Ивановной на уроке не порезвишься. Это лишь Тощеев такой бесстрашный… Серега сказал:

– После звонка все про это говорили… Ты бы меньше таращился кое на кого, а больше бы слушал…

– На кого… таращился? – в тихой панике спросил Севка, и уши у него стали горячими. – Ни на кого я… Дурак ты…

– Да ладно, – усмехнулся Тощеев. – Я не понимаю, что ли? – И отошел.

Севка плюхнулся на скамейку, охватил колючий затылок ладонями и сидел, пока не вошла в класс Гета Ивановна.

Гета Ивановна была высокая, молодая и очень решительная. И сильная: каждой рукой она могла поднять за воротник по второкласснику и донести до дверей, чтобы выставить за порог. Севке она казалась похожей на старинного солдата. Он видел таких на картинках в книжке про Петра Первого. Сперва эти солдаты насмешили его – они были похожи на женщин: в длинных, как платье, мундирах, в чулках и туфлях с пряжками. С дамскими волосами под шляпами. А теперь наоборот – Гета напоминала Севке пехотинца из какого-нибудь Преображенского или Семеновского полка. Ее зеленое платье с блестящими пуговицами было похоже на форменный камзол. Светлые волосы валиками лежали на ушах. Квадратные пряжки на тяжелых туфлях грозно блестели. Острую указку Гета Ивановна всегда держала как шпагу.

Тощеев рассказывал, что недавно Гета прогнала от себя мужа – молодого однорукого военрука из соседней школы-десятилетки. Севка не верил. Скорее всего, муж сбежал от такой ведьмы сам.

– Ну-ка, встали как полагается! – потребовала Гета Ивановна (хотя и так все стояли как надо). – Теперь сели. Руки на парты. Сегодня уроки буду вести я, Елену Дмитриевну вы совсем довели до глазной болезни. Вместо рисования на четвертом уроке будет чистописание.

– У-у… – горестно пронеслось по классу.

– Нечего подвывать! Писать совсем разучилися, хуже, чем в первом классе… Ну-ка, положьте раскрытые тетради на парты, я проверю домашние задания.

«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ – ГОРЕ НЕ МОЕ»

На четвертом уроке дежурные раздали тетради по чистописанию. Гета Ивановна стала с указкой у доски – как полковой командир.

– Всем закрыть рты! Кальман, перестань жевать! Руки на парты! Сейчас будем писать. Не так, как вы пишете обычно, царап-царап, а чисто и красиво, чтобы потом всегда так писать… Кальман, я кому сказала, руки на парту, ты чего руку

тянешь? Чернил у него нет! У тебя никогда нет чернил! У кого нет чернил, мочите взади… Все сложили руки, я еще не сказала – писать!.. Взяли ручки! Пишем!.. Кто будет торопиться и корябать, будет переписывать после уроков…

Севка открыл свою тетрадь с двумя кляксами на газетной обложке. Тетрадка была в «одноэтажную» косую линейку. Еще недавно они писали большими буквами, высотой в две строчки – как в первом классе. Но наконец это унижение кончилось, в начале второй четверти выдали тетрадки в одну косую линию – специально для второклассников. Елена Дмитриевна всех поздравила, а Гета Ивановна была недовольна. Она говорила, что мелкие буквы уродуют и без того скверный почерк учеников. И чтобы почерк совсем не испортился, она заставляла на чистописании вырисовывать каждую буковку.

Сегодня пришла очередь буквы «Ю». Две заглавные и две маленькие «Ю» были выведены твердой Гетиной рукой в начале строк. «Ох, мама…» – простонал про себя Севка. Придется писать целых четыре строчки.

«Ю» – сложная буква. Будто даже не одна, а две. Это слились «Н» и «О». Севка вздохнул, высунул кончик языка, макнул ручку и взялся за работу.

А работа была нелегкая. Надо следить за нажимом пера, надо выводить дурацкие завитушки у «палочки», надо выписывать «овал», который должен красиво смыкаться в левой верхней части. Потом «палочку» и «овал» необходимо соединить вол-нистой «перекладинкой»… Промучился, кажется, целых пять минут, а готова всего одна буква. Да и та почему-то с кривулиной…

Когда Севка вырастет и никто уже не станет ругать его за почерк, он будет писать букву «Ю» совсем не так. Он будет проводить прямую палочку, ставить рядом ровный кружок и соединять их резкой чертой – так, что палочка и левый край кружка окажутся перечеркнутыми. Такая буква написана в слове «Юрик» на корочке книжки «Доктор Айболит». Это буква Юрика. Настоящая буква «Ю». Не то что эта, с загогулинами, унылая и бесцветная.

Да, именно бесцветная.

Вообще-то у каждой буквы свой цвет. По крайней мере, так всегда казалось Севке. Букву «О», например, представлял он густо-коричневой, как шоколад, которым угощал его Иван Константинович. Буква «И» была пронзительно-синей,

«Ш» – черной, «Э» – табачного цвета, «Е» – золотисто-желтая, «А» – белая.

Цвет настоящей буквы «Ю» был ярко-вишневый – как матроска Юрика, когда ее только сшили и она не успела выцвести.

Впрочем, когда Севка и Юрик познакомились, матроска была совсем старенькая и потеряла свой цвет.

Они встретились в хороший майский день, перед самыми каникулами. Было тепло. Счастливый пер-воклассник Сева Глущенко шагал домой из школы. Вернее, не шагал, а прыгал. Потому что земля и тротуары будто сами поддавали его в пятки. Севка радовался всему на свете. Тому, что кончилась война; тому, что цветут яблони; тому, что скоро переведут его во второй класс, а впереди – бесконечное лето. И тому, как хорошо прыгается и шагается. Он был в стареньких, но еще прочных сандалиях на босу ногу (с протертыми насквозь и потому почти невесомыми подошвами), в матросском костюме – тоже стареньком, еще в детский сад в нем ходил, но зато легком и таком привычном, будто это не костюм, а собственная кожа. И даже противогазная сумка с учебниками казалась удивительно легкой. Подбрось – и улетит за крыши.

Севке не хотелось домой, и он свернул на улицу Челюскинцев. Эта дорога была подлиннее, и, кроме того, здесь особенно густо цвели над заборами яб-лони.

В середине квартала стоял длинный коричневый дом с деревянными узорами вокруг окон. Узоры были красивые, но дом старый и покосившийся. На одном конце нижние края окон вросли в землю. Дом был грустный, заброшенный какой-то, и казалось удивительным, что перед ним скачет, как воробышек, мальчик. Такого роста, как Севка.

Тротуара рядом с домом не было, но просохшую землю пешеходы утрамбовали до каменной плотности. На земле белели начерченные мелом «классики», и мальчик прыгал по клеткам, гонял носком сапога баночку из-под крема. Севка сразу посочувствовал: «Такое тепло, а он в сапожищах». Пыльные кирзовые сапожки были небольшие, но очень широкие и сильно болтались. Мальчишкины ноги в полинялых коричневых чулках казались от этого слишком тонкими. Но всё это Севка отметил мельком. Главное было в другом. Главное – мат-роска.

Правда, матроска была не такая, как у Севки. Не синяя, а коричневато-бурая. Но тоже с якорем на рукаве, с полосками на широком воротнике. И Севка сразу почувствовал симпатию к мальчику. Будто они матросы с одного корабля.

Да и не только в матроске дело. Просто мальчик был славный. Прыгал так ловко, несмотря на сапоги. И при каждом прыжке у него вставал торчком светлый мягкий чубчик. У Севки тоже был чубчик, только темный и жесткий. Стричься полагалось наголо, но мама всегда просила знакомую парикмахершу Катю оставить Севке хоть какой-то намек на прическу: чтобы голова была не совсем как картошка. Гета много раз требовала «остричь эту безобразию на-чисто», но потом забывала.

Севка сам не заметил, как остановился.

Мальчик допрыгал до конца «классов» и поднял голову. И увидел Севку. И они встретились глазами. Глаза у мальчишки были синие, веселые и добрые. Не было в них никакой ощетиненности. Раньше, если Севка встречал незнакомых мальчишек, они смотрели задиристо и даже с насмешкой, будто говорили: «Откуда ты такой взялся? Наверно, слабачок». Потому что каждый хотел показать свою силу. А этот не хотел. Он улыбнулся.

Севка засмущался и тоже улыбнулся.

Мальчик сказал, словно они из одного класса:

– Давай поиграем вместе.

У Севки внутри сделалось тепло, будто солнце прогрело его насквозь. Он кинул сумку в пыльную траву у края земляной площадки. Сказал неловко и обрадованно:

– Ну… ладно. – Потом добавил посмелее: – А я тебя раньше никогда не видел. Я тут часто хожу…

Мальчик охотно объяснил:

– Мы здесь недавно живем. А раньше жили во-он там… – Он махнул куда-то за дома. – Далеко. За рекой. Только там хозяйка начала нас выживать, вот мы сюда и переехали…

Потом они сыграли в «классики» полный кон – с первого по десятый класс. И мальчик выиграл. И Севка ничуть не огорчился. Ему было так хорошо с новым знакомым. И тому, видимо, тоже было хорошо с Севкой. Мальчик прыгал по начерченным клеткам и, улыбаясь, поглядывал на Севку из-за плеча. Воротник матроски хлопал его по спине. Иногда прилетал ветерок, и воротник вскидывался и трепетал. Ткань матроски под ним не выгорела, она сохранила свой настоящий цвет – ярко-вишневый. Севку почему-то очень радовала мысль, что в прежние времена матроска мальчика была такого прекрасного цвета. Он вспомнил, что и его собственная матроска была раньше очень красивая – темно-голубая, – и обрадовался еще больше.

Когда игра кончилась, мальчик остановился, выдернул левую ногу из сапога, поджал ее, будто цапля, наклонил голову набок и посмотрел на Севку виновато. Кажется, ему было неловко за свой выигрыш. Потом он нерешительно сказал:

– Можно еще как-нибудь поиграть…

– Как? – обрадовался Севка.

– Можно в «бурное море»! – оживился мальчик.

Севка растерянно заморгал.

– Это надо забраться на сеновал, – объяснил мальчик. – У нас во дворе. Можно там кувыркаться в сене и нырять в него. Будто в волнах плывем. Хочешь?

Еще бы не хотеть! Севка ни разу в жизни не был на сеновале. И к тому же игра такая – в море! В стихию…

Двор оказался очень большой, с огородом, с яблонями за специальным палисадником. В конце двора стоял двухэтажный сарай – такой же старый и покосившийся, как дом. Мальчик привел Севку под навес. Оттуда по визгливо скрипящим ступенькам, через люк, они забрались на второй этаж. Окон там не

было, но солнце свободно лилось в широкие щели рассохшихся дощатых стен.

Сено лежало за низкой перегородкой. Его оказалось немного, было оно старое, почти труха. Пахло не травой, а пылью. Да и откуда быть сену весной? Старые запасы корова слопала, новых не накосили. Севка, хоть и городской житель, сразу это понял.

Мальчик, однако, смело забрался на перегородку и лихо прыгнул в труху – только воротник взлетел за плечами. И Севка тоже забрался и тоже смело бухнулся вниз. Половицы крепко стукнули его по коленкам сквозь тонкий слой сена. Он сел, отплевываясь от пыльных соломин.

Мальчик сидел перед Севкой и держался за локоть. Сено запуталось в растрепанном чубчике. Синие глаза были виноватыми.

– Кажется, не получилось море, – со вздохом сказал он.

Да, это было не похоже на морскую стихию. Но Севку уже захлестывала другая стихия: теплые волны счастья оттого, что рядом этот неожиданный друг.

– Получится! – крикнул он. – Поплыли к тому берегу!

Плюхнулся на живот и, разгребая пыльные остатки сена руками и ногами, пополз к стене.

У стены они вскочили.

– Мы спаслись, как моряки Робинзоны! – воскликнул мальчик.

– Ура! – возликовал Севка и подкинул над головой ворох сенной трухи. – Салют! – Он чихнул от пыли и радостно посмотрел на мальчика.

Но тот на Севку не глядел. Прижался лицом к щели и что-то высматривал во дворе. Потом поднял палец – тише, мол, – и этим же пальцем поманил Севку. Севка тоже глянул в щель.

Посреди двора стояла высокая старуха с измя-тым сердитыми складками лицом. Севка ее узнал. Когда он бывал с мамой на рынке, он обязательно видел эту бабку за прилавком в молочном па-вильоне. Летом перед ней, как воины в шлемах, стояли зеленоватые бутыли-четверти, зимой громоздились белые круги замороженного молока. Старуха смотрела из-за них, неприветливо сжимая губы. Мама с Севкой никогда у нее ничего не покупали.

Сейчас старуха смотрела вверх, на сеновал.

– Услыхала, – прошептал мальчик. – Сейчас полезет сюда.

У Севки захолодела спина. Старуха вдруг спросила гулким голосом:

– Есть там кто али нету?

Потом не спеша двинулась к сараю.

Севка обмяк от страха. Но мальчик взглянул на него глазами смелыми и озорными:

– Пошли! Спасаемся от погони…

Севка напружинил мускулы. К страху примешалось веселье. Ожидалось какое-то жутковатое приключение. Мальчик бросился к другой стене, оттянул на себя и опустил конец тяжелой горизонтальной доски. Открылся широкий просвет.

– Лезь, – веселым шепотом сказал мальчик.

Севка очень боялся старухи. Но не совсем же он трус был! Он сказал:

– А ты?

– Я сразу за тобой.

Севка вывалился из дыры и повис на руках. До земли было метра четыре. Цепляясь за щели в досках и бревнах, срываясь и царапаясь, он спустился в

сухой репейник и свежие лопухи (они были уже большие). Следом упала сумка. А Севка-то про нее совсем забыл! Из дыры ловко выбрался мальчик и тоже повис на секунду. Потом, по-обезьяньи работая руками и ногами, полез вниз. На полпути ноги сорвались, он замер, еле держась скрюченными пальцами за выступ доски. А штаны зацепились краешком за длинный гвоздь, натянулись и затрещали.

– Ой-ёй-ёй… – сдержанно сказал мальчик. – Ловушка… – Он зашевелил ногами, но не смог найти опору. И стал висеть неподвижно.

А что ему было делать? Дернешься – сорвешься. И штанам конец, и ржавый гвоздь бок раздерет. Севка молча кинулся на помощь. Кое-как вскарабкался по стене и, держась одной рукой, другой отчаянно потянул гвоздь вниз. Гвоздь согнулся. Слегка порвавшаяся материя соскользнула с него. Мальчик оттолкнулся ногами и прыгнул. Севка тоже.

Хорошо, что в лопухи. Но всё равно пятки отшибло крепко. Севка охнул и остался на четвереньках. Мальчик сидел перед ним на корточках. И глаза его были по-прежнему веселые.

– Вот это да… – сказал он.

– Вот это да… – согласился Севка.

– Ты меня спас, – сказал мальчик.

Севка скромно опустил глаза.

Мальчик взял его за руку, и они, прихватив сумку, уползли за большую бочку, что рассыхалась посреди лопухов.

– Чтобы хозяйка не заметила, если сюда при-дет, – весело прошептал мальчик.

– А она не догадается, кто там был? – Севка кивнул в сторону сеновала.

– Нет… если сапоги мои не найдет. Да она не заметит в сене.

Только сейчас понял Севка, что мальчик без обуви. К чулкам густо прилипло сено и прошлогодние репьи, ноги казались обросшими клочкастой шерстью. Как у чертенка или какого-то зверька. Севка засмеялся, но тут же встревожился:

– Как же ты теперь? Без сапогов-то…

– А… – беспечно сказал мальчик. – Потом раскопаю. А сейчас можно босиком, лето уже. – Он стянул чулки, похлестал ими о бочку, чтобы стряхнуть мусор. – Затолкай пока в сумку.

Севка затолкал. А заодно и свои сандалии. Босиком так босиком. Вместе. Одинаково.

– Надо выбираться отсюда, – обеспокоенно сказал мальчик и посмотрел вокруг, как разведчик.

Они были уже не в старухином дворе, а в соседнем. В дальнем, заросшем сорняками углу. Посреди двора сохло на длинных веревках белье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/krapivin_vladislav/skazki-sevki-gluschenko

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить